

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)



Глава тридцать седьмая

Четыре года до славы

Куль личности и цик личности

Весной 1956-го двенадцатилетняя сестренка спросила меня: «Вова, что такое культ личности, цик личности?» Ну, на первую половину вопроса я как-то ответил, а насчет второй – не сразу догадался, что Фаина услышала по радио, кроме сообщения о XX съезде КПСС, еще и о том, что «руководители предприятий должны настойчиво добиваться цикличности производства».

Я в молодости практически никакого интереса к политике не проявлял, но появившаяся в «Правде» года за два до XX съезда статья о культе личности заметил. Не о культе личности Сталина, а вообще о культе личности как явлении, якобы чуждом КПСС и советскому обществу. Приводились цитаты из высказываний разных коммунистических авторитетов и, судя по статье, наиболее решительным противником культа личности был товарищ Сталин. Приводился пример. В двадцать каком-то году вышла книга «Детские годы И.В. Сталина», содержащая неумеренные похвалы герою книги. Товарищ Сталин книгу прочел, и она ему не понравилась. Это эсеры, писал Сталин, утверждают, что историю делают отдельные личности, а мы, большевики, говорим, что историю делает народ. «Книжка, – заканчивал свой отзыв Иосиф Виссарионович, – льет воду на мельницу эсеров. Советую сжечь книжку».

Не знаю, была ли сожжена та книжка. Но доклад Хрущева на XX съезде долгое время считался «секретным», он распространялся по партийным организациям. Я хоть и был беспартийным, но работал в райисполкоме и оказался среди допущенных к тайному чтению. В нашей керченской номенклатуре доклад вызвал большое смущение. Некоторые, включая моего друга Сидоренко, сильно перепугались, что грядет большая партийная чистка, и торопливо полезли на стремянке снимать сталинские портреты. Но тут же последовали успокоительные разъяснения (от таких же боявшихся по-выше): чистки не будет, и с портретами горячку пороть не надо. Сталин, хоть и совершил грубые политические ошибки, остается выдающимся деятелем нашей партии и международного коммунистического движения.

Половинчатость политики Хрущева, который, раскритиковав Сталина, попытался оставить в неприкосновенности созданную им систему, а заодно и сталинский труп, который из Мавзолея вынесут только через пять лет, оказалась характерной для всех наших вождь-реформаторов. Горбачев пытался реформировать систему, но отказаться от нее не решился. На это пошел Ельцин, но так называемый суд над КПСС допустил только фарсовый, на люстрацию не решился и труп Ленина из Мавзолея не вынес. Теперь, при Путине, мы строим (или уже построили?) капитализм, а труп, как сказал бы дедушка Крылов, и ныне там...

Все же XX съезд оказался более разрушительным, чем ожидали Хрущев и его сподвижники. Перемены, обещанные съездом, внушили надежды миллионам людей – и мне лично тоже внушили.

«Перед нами все дороги»

Вознамерившись стать стихотворцем, я сначала не задумывался, что именно хочу сказать миру. Просто писал днем и ночью, в любое свободное и несвободное время, поставив себе задачу писать не меньше, чем по одному стихотворению в день. В сторону «больше чем» границ я не определил, и мой личный дневной рекорд был 11 стихотворений. Так вот и брел я вслепую – неизвестно куда и зачем. Цель сама стала вырисовываться, и чем заметнее она проявлялась, тем четче прояснялось, что не при всех условиях могу я осуществиться в избранном роде занятий. Перед глазами был печальный опыт отца. Он всю жизнь писал стихи и на довольно высоком уровне, но их содержание и тональность были не очень-то совместимы с выпавшей ему эпохой. Мне после XX съезда подумалось, что наступает иная эпоха.

Моя любимая учительница литературы Тать-



ГЕННАДИЙ НОВОНИЛОВ

Я поставил себе задачу писать не меньше чем по одному стихотворению в день. В сторону «больше чем» границ я не определил, и мой дневной рекорд был 11 стихотворений.
– Кирюха! – сверкал железным зубом мой друг Марк Смородин. – Куда ты лезешь? Десятки тысяч надеются стать писателями, а успеха достигают единицы!
– В таком случае мне придется оказаться среди единиц, – отвечал я.

яна Валерьяновна Фомина предложила мне сочинить к выпускному вечеру что-нибудь вроде оды. Я сочинил очень советский текст, баянист Коля Макогоненко подобрал к нему музыку, и школьный хор исполнил эту бурду с припевом: «Подведет всему итоги этот вечер выпускной. Перед нами все дороги по стране и над страной...». Фу, какая гадость!.. К сожалению, некоторые из исполнителей запомнили эту гадость надолго. Марик Плагав, эмигрировавший в Америку, когда мы с ним встретились лет через сорок, напевал мне это, а я махал руками и закрывал глаза от стыда.

Школа у нас была для взрослых, поэтому на выпускном вечере мы и пили по-взрослому. Сначала в школе, потом в скверике перед ней. Я так наклюкался, что, в конце концов, лег на лавочку и заснул. Но перед этим снял шелковую рубашку (ее мама мне сшила к выпуску), чтобы не запачкать, и накрылся ею. Как мне потом рассказали, подошел милицейский сержант с намерением тащить меня в отделение. Но Сидоренко предьявил удостоверение и сказал милиционеру, что если тот вздумает меня потревожить, он, Сидоренко, разгонит всю их милицию, а самого сержанта уволит в запас со срезанием лычек. Сержант испугался и хотел уйти, но Сидоренко сказал: «Нет! Будешь здесь стоять и следить, чтоб у него никто не украл рубашку». Сержант ответил: «Слушаюсь!». Но Сидоренко подумал и смилиостивился: «Ладно, иди. Мы сами постожим».

Мастер-класс на пляже

«Я все могу, / Ну, может быть, не все, / Но все-таки я многое могу. / Могу пастись, как лошадь, на лугу, / Когда дела неважные с овсом, / Могу решать задачи на бегу, / Могу иголку отыскать в стогоу, / Я в самом деле многое могу. / Могу собрать и стол, и пулемет, / Могу без раздраженья слушать оперу, / Могу ввести я в штопор самолет, / А иногда и вывести из штопора. / Могу я жить в арктическом снегу, / Могу на африканском берегу, / Но не могу все то, что я могу, / Сменить на то, чего я не могу».

Мой друг Камил Икрамов говорил, что утверждение «могу без раздраженья слушать оперу» – чистый парадокс. Если человек ставит себе в заслугу то, что может слушать опе-

ру без раздражения, значит, он ее без раздражения слушать не может. До какого-то времени опера (которую я видел, впрочем, только в киноверсиях) не то чтобы меня раздражала – я ее не признавал, как любое условное искусство, где люди изъясняются не тем языком, которым пользуются в жизни. Следующим по степени моего непризнания был балет и, пожалуй, на третьем месте стояли стихи. Но, начав писать, я, в отличие от анекдотического чукчи (который не читатель, а писатель), стал стихи читать прилежно, хоть и хаотично, потому что, как я потом про себя понял, хаос – моя стихия. Прыгал от Пушкина к Симонову, поднимался к Третьяковскому и Державину, перескочил через Фета и Тютчева к футуристам, имажинистам, символистам и акмеистам, удивился Блоку, открыл для себя Маяковского, восхитился Есениным, увидел, что в советской поэзии, кроме Симонова и Твардовского, есть и другие достойные внимания имена. До этого из поэтов старшего поколения я знал понаслышке о Цветаевой и Ахматовой, понятия не имел об Асееве, Смелякове, Светлове, Уткине, а первое стихотворение Пастернака («Свеча горела на столе...») прочел в «Дне поэзии» 1956 года.

В тот период я читал все стихи (или то, что называлось стихами), где бы они мне ни попадались. Однажды шел по керченскому пляжу, увидел клочок газеты со стихами, подобрал, прочел и поразился. «Шел фильм, и билетерши плакали, / в который раз над ним одним. / И парни девушек не лапали, / поскольку стыдно было им». Я читал, что поэзия – всегда возвышенный слог, а тут парни, которые в данном случае девушек не лапали, а в остальное время, конечно, лапали... Неужели такие слова в поэзии можно употреблять? Второе стихотворение было про женщин, которых война сделала вдовами. Они приходят в сельский клуб и там: «Танцуют эти вдовы по двое. / Что, глупо, скажете? Не глупо».

Эти стихи Бориса Слуцкого произвели на меня сильное впечатление. Вот о чем и вот как надо писать. Просто. Обыденными словами. Я тоже распускал руки с девушками, знал этих танцующих по двое вдов и мылся в банях, «где шайки с профилем кабаньим», но не думал, что описание этой жизни может быть кому-нибудь интересно. А тут увидел: да, интересно.

Вряд ли Слуцкий оказал на меня реальное влияние, но стихи, прочтенные на пляже, оказались для меня как бы данным им мастер-классом.

Не падаю духом тчк

Я послал в Литинститут на творческий конкурс 15 стихотворений и стал ждать ответа. Нервничал. Надеялся, что «да» или «нет» мне скажут скоро. Не дождавшись, отбил в Москву телеграмму с оплаченным ответом и с вопросом: «Да или нет?» Оплаченный ответ пришел быстро: «ВЫ НЕ ПРОШЛИ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ТЧК ПРИЕМЕ ОТКАЗАНО ТЧК ДОКУМЕНТЫ ВЫСЫЛАЕМ ТЧК СЕКРЕТАРЬ ФЕЙГИНА ТЧК». Я тут же послал им телеграмму: «НЕ ОЧЕНЬ ОБРАДОВАН ВАШИМ ОТВЕТОМ ТЧК НЕ ПАДАЮ ДУХОМ ЗПТ Я БУДУ ПОЭТОМ ТЧК» – и объявил родителям, что, несмотря на отказ, еду в Москву и тчк.

Родители меня особо не отговаривали: поступок был в их духе. Но Марк Смородин, мой тогдашний друг, моряк и студент-заочник Литинститута, пытался меня охладить.

– Кирюха! – сверкал он железным зубом. – Куда ты лезешь? На что рассчитываешь? Ты знаешь, что в Москве иногородних не прописывают и не берут на работу? Никаких шансов зацепиться там просто нет. А то, что ты думаешь пробыть в литературе, так это вообще дело безнадёжное. Тысячи, десятки тысяч надеются стать писателями, а успеха достигают единицы.

– В таком случае мне придется оказаться среди единиц, – отвечал я. – Через пять лет я буду известным поэтом.

– Ну, кореш, ты и даешь! – восхитился Смородин и предложил пари на ящик шампанского, что этого не будет.

Прежде чем выставить встречный ящик, я предложил обсудить, что значит известность. При всех сомнениях, я оценивал свои шансы реалистически. Я вовсе не думал, что через пять лет каждая собака будет декламировать мои стихи наизусть, а меня узнавать на улице и выпрашивать автографы.

Я предложил более скромный критерий. Через пять лет мы явимся в три института в Москве или в провинции, по выбору Смородина, и спросим студентов, знают ли они какой-нибудь мой текст или мою фамилию. Если в каждом из трех институтов найдется хотя бы по одному студенту, который знает, автор считается достаточно известным...

Четыре года спустя я написал песню «14 минут до старта», которую знали 100 процентов студентов плюс все их родители и преподаватели.

Но... Слуцкий сказал: «Война была четыре года, долгая была война». Предстоящие четыре года, как и предыдущие, были долгими и нелегкими, может, и потруднее армейских.

Продолжение следует